

РОЗАЛИЯ БЛОК-БАЕРС

НЬЮ-ЙОРК—МОСКВА—СИБИРЬ ПО ЭТАПУ

I

— Вы что, снова жена? Не волнуйтесь, вас таких много здесь, — довольно дружелюбно сказала мне охранница в Бутырской тюрьме.

После обыска она отвела меня в камеру, и я увидела множество лежавших и сидевших в страшной тесноте женщин, которые трясли перед собой какие-то тряпки. Первой моей мыслью было, что они не в своем уме, но, присмотревшись, я поняла, что их только что привели из бани и они сушат свои вещи.

В нерешительности я стояла у дверей: казалось, места для меня не найдется. Вдруг я услышала голос: "Розалия Моисеевна, идите сюда!" Это была Софья Евсеевна Прокофьева - заместитель М. Е. Кольцова, возглавлявшего издательство "Журнально-газетное объединение", в которое входила и наша газета - "Moscow Daily News". Я работала в редакции секретарем и инструктором массового отдела, знала Софью Евсеевну мало. Муж ее был заместителем наркома внутренних дел Ягоды до его смещения.

В тюрьме и затем в лагере мы стали близкими подругами. Когда в 1939 г. её привезли в Москву как свидетеля по делу арестованного М. Е. Кольцова, она на допросе у ответственного работника НКВД просила о пересмотре моего дела (ей это лицемерно пообещали).

Не успела я пробраться к Софье Евсеевне, как меня подозвала незнакомая молодая женщина (как я узнала позже - Наталья Соломоновна Левина, жена замнаркома финансов), предложила место рядом с собой и укрыла своим одеялом.

Едва я прилегла, воспоминания о событиях этой кошмарной сентябрьской ночи 1937 г. овладели мною.

...Мы спали, когда к нам постучали, и в квартиру вошли красноармеец с винтовкой и мужчина в штатском. Последний предъявил ордер на арест и обыск, который продолжался всего несколько минут. Присутствовавший при обыске дворник шепнул мне: "Вы в нашем доме уже пятнадцатая, — и добавил: — А вас-то за что?" Я не знала и попросила его: ради Бога, присмотрите за Володей! Двенадцатилетний сын цеплялся за меня, плакал и просил не уходить. Слезы сына и мое отчаяние, кажется, подействовали на энкаведиста, и он сказал Володе: "Ты не волнуйся, с мамой только поговорят, и она вернется". Много лет спустя я узнала, что сына в ту же ночь отправили в Даниловский детский приемник. Все эти годы я ничего не знала о его судьбе.

Не захватив с собой даже самой необходимой одежды, я вышла из дома вслед за ночными "гостями" на Софийскую набережную, где нас ждала машина. Мне казалось, я не переживу этого ужаса.

В Бутырках я провела три бесконечных месяца. Порой мне казалось, что я останусь там навсегда. Но однажды среди ночи меня отвели на допрос, и я, к своему удивлению, увидела того самого молодого энкаведиста, который меня арестовал.

— Скажите, — спросил он меня, — почему вы, зная о контрреволюционной деятельности своего мужа, не сообщили об этом куда следует?

— Мой муж, — ответила я, — не занимался никакой контрреволюционной деятельностью, он был честным и преданным членом партии, и я никогда не поверю в его вину. Больше я ничего вам сказать не могу. Прошу только вас сообщить мне, где мой сын, что с ним.

— Обязательно постараюсь узнать и сообщу вам в ближайшее время, — ответил следователь. По неопытности я обрадовалась и поверила его обещанию, которое, конечно же, оказалось ложью. Но теперь я знала, в чем меня обвиняют, хотя догадывалась об этом с самого начала: ведь все женщины в камере были женами или сестрами арестованных "врагов народа", в большинстве своем членов ВКП (б), так же как мой муж Л. А. Блок, арестованный в январе 1937 г.

II

Социалистом Леонид Абрамович стал в 1920 г. в США, куда его родители эмигрировали за девять лет до революции. Вернувшись в 1922 г. в Советскую Россию, он вступил в РКП(б). В том же году я вышла за Леонида Абрамовича замуж и переехала к нему из Москвы в Петроград. Мы жили на Троицкой улице (ныне Рубинштейна), в доме графини Толстой. Муж служил в отделе по пропаганде среди иностранных моряков, я работала во Внешторге. В 1925 г. Леонида Абрамовича командировали в Англию, назначили заместителем советского полпреда по отделу печати. На следующий год приехала в Лондон и я, устроилась стенографисткой сначала в полпредстве, а затем в торгпредстве.

В 1926 г. Англия разорвала дипломатические отношения с СССР, и мы вернулись в Москву. Леонида Абрамовича направили на работу в Концессионный комитет, главой которого в мае 1925 г. был назначен, после смещения с поста председателя Реввоенсовета, Л. Д. Троцкий.

На одном из партийных собраний, по указанию сверху, была поставлена на голосование резолюция об исключении Троцкого из партии. Нужно сказать, что Леонид Абрамович, будучи убежденным коммунистом, не считал нужным всегда и во всем поддерживать официальную партийную линию. При голосовании этой резолюции он, единственный из всех присутствовавших коммунистов, воздержался. И в дальнейшем он часто не шел на поводу у послушного сталинского большинства, и, конечно, это "инакомыслие" сыграло впоследствии роковую роль в его судьбе.

Последние годы Леонид Абрамович был редактором журнала "Интурист" и начальником отдела печати во Внешторге. Иногда его приглашали в качестве переводчика для работы со знаменитыми иностранцами. В 1931 г. он сопровождал в поездке по СССР Бернарда Шоу и А. В. Луначарского. После его ареста я узнала, что ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной троцкистской деятельности (КРТД).

III

Та ночь, когда меня, наконец, вызвали на допрос, оказалась в Бутырской тюрьме последней. Едва я успела вернуться в камеру, как нас начали, одну за другой, вызывать в полутемный коридор, где какой-то мрачный человек подзывал нас к столу и, глядя куда-то в сторону, скороговоркой объявлял нам, что мы, члены семей "врагов народа", осуждены кто на пять, кто на восемь лет лагерей. Мне повезло, дали "только" пять лет.

После объявления "приговоров" нас сразу же повезли кружным путем на вокзал. Был конец декабря, мы почти все были без верхней одежды, так как арестовали нас летом или в начале осени, а выдать нам арестантские ватники тюремное начальство не сочло нужным.

На морозе, в полутьме, под лай собак и окрики конвойных, нас, двести отупевших от горя и ужаса женщин, погрузили в теплушку, освещенную только одной свечкой. Многие

плакали, одна потеряла сознание, и вдруг какая-то женщина сильным молодым голосом затянула песню, и, тут же сочиняя слова, ее подхватили другие. Пели мы эту песню всю дорогу в Сибирь, несмотря на окрики конвойных. Часть этой наивной, трогательной песни сохранила моя память:

"Дорогие мужья и товарищи,
Это мы нашу песню поем,
По тяжелым сибирским дорогам
Вслед за вами этапом идем.
По суровым негласным законам,
Отвечая за наших мужей,
Потеряли мы честь и свободу,
Потеряли любимых детей..."

В пути нас кормили селедкой и хлебом (300 г в день), которые мы запивали кипятком. В вагоне была одна печурка, у которой грелись по очереди.

Наконец нас привезли в Томск и с вокзала отконвоировали в пересыльную тюрьму, где разместили в коридоре, так как, по-видимому, камеры были уже переполнены. Четверо мужчин, усевшись за стол и ухмыляясь, предложили нам раздеться для осмотра. Они были явно не врачи, и от этого издевательства мы с негодованием отказались.

На следующий день нас увезли на станцию Яя под Томском, в женский лагерь. Встречены мы были явно уголовным типом, обратившимся к нам с издевательским "приветствием": "Ну что, наркомши, много вреда причинили нашей родине, здесь вас перевоспитают". Эти слова он сопровождал чудовищной матерщиной.

В лагере было много женщин интеллигентных профессий — врачи, преподаватели, юристы, журналистки, артистки, но встречались и домохозяйки. Еще в Бутырской тюрьме, а особенно здесь, я убедилась, что попала в общество "избранных": на переключках звучали фамилии жены Николая Бухарина Анны Лариной, младших сестер маршала Тухачевского Маши и Оли, жен командарма Якира и его брата — Сарры Лазаревны и Люси — и других. Почти все они, как и я, были на грани полного отчаяния. Помню выражение глубокой тоски на красивом лице молодой Анны Лариной. Вероятно, и я выглядела похоже.

Твердо могу сказать, что в лагере я не утратила воли к жизни только благодаря поддержке благородных, сильных духом женщин, которые стали близки мне и многим другим узницам, как родные.

Это Софья Евсеевна Прокофьева, сердечную заботу которой я ощутила с первого дня (точнее, с первой ночи) моего ареста. Это Людмила Кузьминична Шапошникова - жена крупного ленинградского партийца М. С. Чудова, женщина редкой красоты и высокого интеллекта. Член партии с 1918 г., она не только сама стойко переносила все лагерные невзгоды, но и всячески ободряла нас, поддерживая веру в конечную справедливость. Людмила Кузьминична, которую мы выбрали старостой, пробыла с нами недолго. Ее, Сарру Якир, Анну Ларину и других жен и сестер увезли в другой лагерь. Впоследствии я узнала, что Людмила Кузьминична погибла. Светлая память о ней осталась у меня на всю жизнь.

Жили мы в бараках с двухъярусными нарами, спали по двое на одном тощем матраце. Все страдали от недоедания, от неизвестности (мы были лишены права переписки), от тоски по нашим детям. Работали только некоторые из нас - на кухне, на уборке лагерной территории. Шапошникова, по нашей просьбе, написала заявление о предоставлении нам какой-либо работы, и вскоре в лагерь прибыла комиссия из трех сотрудников НКВД, которые ничего не решили. Правда, один из них сказал, что мы можем обратиться к нему с письменными заявлениями. Несколько женщин, в том числе и я, заявления написали (в основном о судьбах наших детей). Никакого ответа, конечно, не последовало.

В лагере я подружилась, кроме Софьи Евсеевны, еще с Люсей Якир, Наташей Левиной и Аней (фамилию ее не помню), которая с мужем-инженером вернулась из Харбина в Советский Союз, где их, разумеется, вскоре арестовали.

Люся Якир была обаятельная, скромная, очень красивая женщина. В лагере ей было труднее других из-за плохого зрения, и мы, как могли, помогали ей. После освобождения я с ней несколько раз встречалась в Москве.

Наташа Левина, с дочерью которой я до сих пор переписываюсь, стала моей подругой. Это она в Бутырках уложила меня рядом с собой и накрыла своим одеялом. Наташа оказалась очень сердечной, а на это не каждая была способна в тех условиях. Через год ее, инженера-экономиста по профессии, отправили в другой лагерь работать по специальности. Наташа дожила до реабилитации, ей была назначена персональная пенсия за мужа.

С Аней мы говорили по-английски (она окончила в Харбине американскую гимназию), чтобы не забыть язык, и я вспоминала счастливое детство и юность, проведенные в далекой Америке.

IV

Я родилась в Киеве в 1900 г. Родители моей матери, Ревекки Борисовны Боярской, были очень бедными людьми. Только выйдя замуж и попав в более обеспеченную семью моего отца, мать сумела закончить Киевский медицинский институт. Много лет она работала в частной гинекологической больнице Вишнепольского, находившейся рядом с Притиско-Никольским монастырем.

Осенью 1909 г. мать вместе с нами, тремя дочерьми (с отцом, Моисеем Абрамовичем Шинкаревым, они развелись), отправилась в Нью-Йорк по приглашению ее брата — владельца адвокатской конторы Арона Бенджамена, много лет назад покинувшего Россию. Мы отплыли на огромном океанском пароходе из Либавы. Помню, что все, кроме меня, самой младшей, жестоко страдали от морской болезни.

В Америке русский диплом матери не давал права на врачебную практику, и она устроилась медсестрой в больницу. Средняя сестра работала там же регистратором, а старшая занялась художественной вышивкой. Поселились мы на 15-й улице в Манхэттене — районе небогатых людей, на 6-м этаже, в 4- комнатной квартире.

Я сразу была отправлена в начальный класс средней школы (public school), где быстро научилась говорить по-английски. Моими любимыми предметами были история и литература, и я с увлечением читала книги О'Генри, Марка Твена, Джека Лондона, Теодора Драйзера и других американских писателей. Однако мать всячески поддерживала мое знание русского языка, она записала меня в библиотеку, и я получала там русские детские книжки. Но со временем я все больше и больше говорила и думала на английском.

Окончив public school, я три года проучилась на вечернем отделении гимназии (high school), где нас обучали также стенографии. Чтобы помочь матери и сестрам, я бралась за

любую работу, которую мне удавалось найти в свободное время, — на обувной фабрике, в ресторане и в других местах.

После окончания гимназии в 1919 г. я устроилась стенографисткой в фирму меховых изделий, но через несколько месяцев случайно нашла работу, также стенографисткой, в недавно открывшемся бюро представительства Советской России — так называемом Советском бюро (оно издавало информационный бюллетень, а затем еженедельный журнал "Soviet Russia").

Возглавлял Советское бюро крупный инженер, один из первых русских социал-демократов, Людвиг Карлович Мартенс. В 1895 г. он вступил в созданный Лениным Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса, вскоре был арестован и три года провел в тюрьме. В 1899 г. Л. К. Мартенс эмигрировал в Германию, затем поселился в Англии, а в 1916 г. перебрался в США.

И он, и его ближайшие сотрудники были высокообразованными журналистами, инженерами, экономистами, и, работая с ними, я многому у них научилась.

Тогда и затем всю жизнь я находилась под влиянием обаятельной, благородной женщины - супруги Людвиг Карловича, Надежды Алексеевны (спустя много лет она бесстрашно добивалась в НКВД моего досрочного освобождения). Познакомилась я с ней у них дома.

Нужно сказать, что в то время социалистические идеи привлекали немалое число американцев, среди них оказалась и я: вступила в кружок социалистической молодежи (там мы читали политическую литературу), распространяла листовки в рабочих кварталах Нью-Йорка.

Советское бюро посещали и вели переговоры о продаже своей продукции многие американские предприниматели. Приходили люди различных политических убеждений, выражавшие симпатии к Советской России, среди них журналист Джон Рид, социалист Уильям Фостер, адвокат Э. Мэлони, аграрник Г. Вэр, раввин Ю. Магнес, бизнесмен Хаммер (отец Арманда Хаммера). Последний оказывал Советскому бюро немалую материальную помощь.

Однако в целом отношение американской общественности к большевистскому Октябрьскому перевороту, к антидемократической политике и практике правительства Ленина было более критичным, скорее отрицательным.

Госдепартамент не ответил на меморандум, направленный Мартенсом, и, таким образом, Советское бюро функционировало без согласия американского правительства. Выступая в прениях по проекту резолюции сената о непризнании советского представительства в США, сенатор Кинг заявил: "...большевистская организация России под господством Ленина проповедует принципы, несовместимые со свободой и законами Соединенных Штатов, принципы, которые по существу являются архаическими и деспотическими и противоречат общепризнанным законам народов".

В американской прессе началась кампания против незаконного существования и деятельности Советского бюро, газета "Нью-Йорк таймс" утверждала в номерах от 28 марта и 11 апреля 1919 г., что оно является подрывной организацией, созданной "для пропаганды коммунизма в США".

Я проработала в Советском бюро около трех месяцев, когда в нем был произведен обыск. 12 июня 1919 г., в три часа дня, у здания на 40-й улице, 110, остановился полицейский автобус, и спустя несколько минут 20 сыщиков и 10 полисменов вбежали в помещения бюро на третьем и четвертом этажах, перерезали телефонные провода и начали выгружать документы из сейфов, столов и шкафов.

Во время обыска один из полисменов обратился ко мне со словами увещевания: "Как же такая хорошая молоденькая девушка попала в такую ужасную компанию?" Я ответила со свойственным мне в то время задором: "Быть в компании с вами мне действительно неприятно, а вот люди, среди которых я нахожусь, замечательные".

Л. К. Мартенсу был вручен ордер на обыск и изъятие документов и повестка, предписывающая явиться в Объединенный законодательный комитет штата Нью-Йорк.

Людвига Карловича окружили полисмены, чтобы доставить его в нью-йоркский муниципалитет на допрос. Но Мартенс заявил, что его вызывают лишь в качестве свидетеля, поэтому он отказывается ехать в муниципалитет под охраной в полицейском автомобиле. Не обращая внимания на окрики полисменов, Людвиг Карлович направился к станции подземной железной дороги.

Обыск тем временем продолжался. Все в бюро было перевернуто вверх дном, письма, документы, книги были свалены в одну кучу. Через сутки большую часть этих материалов увезли в Объединенный законодательный комитет, где накануне уже успели допросить Мартенса.

На следующий допрос Людвига Карловича вызвали в ноябре 1919 г., с января по март его допрашивали в сенате, а в декабре 1920 г. комиссия Министерства труда приняла решение о его высылке из США.

Незадолго до этого наша семья переселилась в Бронкс, в двухэтажный каменный дом на White Plains Road, 1459, купленный дядей в 1920 г. В одной квартире жили мы, а другие три сдавались жильцам (в 1967 г. я гостила у своей сестры в США и вновь жила в этом доме).

И вот, когда мы наконец обрели свое жилище, за которое не надо было платить большие деньги, и благосостояние нашей семьи стало вполне приличным, я, к великому горю матери и сестер, объявила, что собираюсь вернуться в Россию. Я упростила Л. К. Мартенса включить меня в список уезжающих из США сотрудников Советского бюро.

21 января 1921 г. Людвиг Карлович, Надежда Алексеевна и мы, их помощники и товарищи, поднялись на борт пассажирского парохода "Стокгольм". Нас провожали более 5 тысяч нью-йоркцев, они бурно выражали нам свои симпатии, бросали цветы. Зрелище было впечатляющее, такими я и запомнила американцев: доброжелательными, эмоциональными, непосредственными.

Об отплытии "Стокгольма" было заранее объявлено в нью-йоркских газетах. Много лет спустя я узнала, в какой обстановке уходил в 1922 г. из петроградского морского порта пароход с неугодными ленинскому режиму знаменитыми русскими учеными, философами, богословами. В газетах сообщений не было, немногочисленные провожающие не осмеливались открыто выражать изгнанникам свои симпатии. Если бы я поверила хотя бы некоторым из сообщений американской прессы о подобных или куда более неприглядных фактах советской действительности, мое настроение на борту "Стокгольма", возможно, не было бы столь радужным.

Между тем на берегу оставался человек, готовый последовать за мной хоть на край света, - 25-летний русский американец Леонид Блок. После нашего знакомства он изредка приходил к нам домой. Провожая меня, Леонид обещал приехать в Россию. Если бы он знал, какая страшная судьба ждала его и таких же, как он, идеалистов - американцев, решивших связать свою судьбу с ленинской партией!

В Стокгольме, куда пришел наш пароход, нас пересадили на небольшое шведское судно, следовавшее в Польшу. В море все, кроме меня и трехлетней дочери Мартенса Светланы,

ужасно страдали от морской болезни и, обессилевшие, лежали в каютах. Было странное впечатление, что, кроме нас двоих, на пароходе никого нет.

Из польского порта нас отвезли в Варшаву, а оттуда отправили на поезде в Москву. Через одиннадцать лет я, уже почти настоящая американка, снова оказалась в России. Мое будущее в стране социализма представлялось мне непременно счастливым. Могло ли мне прийти в голову, что через семнадцать лет я буду рассказывать на английском языке о моей жизни в Америке Ане из Харбина в бараке для жен "врагов народа" в Сибири?

V

В конце июня 1941 г. начальник лагеря сообщил нам о нападении фашистской Германии. Он сказал, что мы будем работать на фабрике на территории лагеря - шить военное обмундирование. Мы были рады, что сможем помочь нашей Родине своим трудом в это тяжкое время.

Как мы узнали впоследствии, наши сыновья, несмотря на клеймо "детей врагов народа", ушли добровольцами на фронт, хотя некоторые из них были несовершеннолетними. Вступил в ленинградскую дивизию народного ополчения и мой семнадцатилетний сын Владимир.

Рабочий день на фабрике продолжался 12 часов, мы сильно уставали, но и после окончания смены нас иногда отправляли на разгрузку вагонов, и мы буквально теряли последние силы. Часто материал на фабрику поступал с опозданием, и тогда мы работали на разгрузке или на строительстве дома для начальника лагеря. Там приходилось таскать носилки с кирпичами по ветхим лестницам, с которых изможденные женщины нередко срывались и калечились.

Помню, покалечила пальцы молодая женщина Аня, незадолго до ареста закончившая Ленинградскую консерваторию. Она стала совершенно невменяемой, и ее заперли в карцер, но оттуда раздавались ее душераздирающие крики и звуки ударов головой о стену. Слышать это было нестерпимо. Вскоре ее отправили в психиатрическую больницу. Были и другие случаи психических заболеваний и попытки самоубийства.

На фабрике я обслуживала 42 швейные машины (заправляла в них катушки), делать это приходилось бегом. Однажды я упала от истощения прямо в цехе, и меня, по просьбе наших женщин, перевели в столовую на мойку огромных котлов. Вскоре вольнонаемная начальница столовой почему-то прониклась ко мне симпатией и перевела меня на раздачу пищи уголовникам. Те говорили обо мне: "Этот контрик справедливый, раздает еду всем одинаково".

Однажды женщина-уголовница пригласила меня в свой барак, где меня угостили водкой и чаем. От водки я, естественно, отказалась, а во время чаепития у меня украли шерстяной платок, подаренный Софьей Евсеевной. К моему удивлению, буквально через несколько минут по приказу старосты барака платок был найден и торжественно мне возвращен.

В 1941 г. Надежда Алексеевна Мартенс, очень за меня переживавшая, обратилась в НКВД с ходатайством о моем досрочном освобождении. Сотрудник, к которому она явилась, спросил: "А почему вы хлопчете за нее?" - "А потому, - ответила Надежда Алексеевна, - что я знаю ее двадцать два года, она исключительно порядочный человек, и я уверена, что она ни в чем не виновата". Энкаведист задал ей смешной вопрос: "А она красивая?" - "Если это важно, то да", - ответила Надежда Алексеевна. Ходатайство Н. А. Мартенс не осталось без последствий, хотя его рассматривали слишком долго.

В июле 1942 г., за два месяца до истечения моего срока, когда я находилась в так называемой лагерной "больнице" (у меня была цинга и фурункулез), ко мне явилась сотрудница лагерной администрации и сообщила, что пришло постановление о моем

досрочном освобождении. Однако совершенно неожиданно отказался выписать меня вольнонаемный врач. Если, заявил он, вы продержали здесь невинного человека почти пять лет, то уж дайте ей возможность уйти отсюда в сносном состоянии. Таким образом, я пробыла в лагере до конца своего срока - до 5 сентября 1942 г.

Провожали меня на свободу мои подруги очень тепло, со слезами. Я распрощалась с ними у самых ворот лагеря. Мне исполнилось 40 лет. Впереди по-прежнему была неизвестность.

VI

— Мало того, что ты свалилась на мою голову, ты еще эту жидовку привезла с собой, — услышала я сквозь полудрему шепот хозяйки.

За все лагерные годы никто не сказал мне, как еврейке, ни одного плохого слова, и вот довелось услышать такое от первого же человека на воле, в среднеазиатском городе Чарджоу, куда меня уговорила приехать к своей дочери соллагерница, старушка Мария Ивановна. Добраться до Чарджоу ей удалось благодаря мне (моим документам).

Дочь Марии Ивановны работала в облторге, и буфет в ее комнате ломился от продуктов (явно украденных), но ничего из них она мне ни разу не предложила, и я за все время, прожитое у нее, почти ничего не ела.

Шепот в соседней комнате продолжался, но с меня было вполне достаточно услышанного, и, быстро одевшись, я бесшумно вышла из домика. Ночь была довольно светлая, и, не зная, где преклонить голову, я присела на крылечке. Который уж раз за последние пять лет я была близка к отчаянию, но его несколько смягчило внезапно возникшее воспоминание об одном курьезном инциденте, произошедшем со мной и американкой Вирой.

Вскоре после нашего прибытия в 1921 г. в Москву Надежда Алексеевна Мартенс, которая всегда относилась ко мне по-матерински, разыскала меня и еще одну молодую стенографистку-американку Виру и отвезла нас в особняк Народного комиссариата иностранных дел на Поварской улице. Там я и Вира писали стенограммы под диктовку Л. К. Мартенса, сдававшего дела советского представительства в США. Через некоторое время нам дали комнаты в общежитии.

В НКВД я проработала около года. Довелось мне стенографировать на русском и английском языках речи и беседы заместителя наркома Максима Максимовича Литвинова и (один раз) - наркома Георгия Васильевича Чичерина. Конечно, эти выдающиеся дипломаты произвели на меня сильное впечатление своей огромной эрудицией и высокой культурой (как стенографистка могу сказать, что их английский язык был безупречен).

Теперь о Вире. В Америке я уверяла ее, что в Советской России антисемитизма нет (мать ее была еврейка, а отец — негр, родилась Вира в тюрьме). Поэтому я была несколько смущена, когда извозчик, которого мы хотели нанять, чтобы добраться до наркомата, спросил нас: "Вы по-каковски говорите, по-жидовски, что ли?" По-видимому, он признал в нас евреек. Я ему ответила, что мы говорим по-английски, а Вире сказала, что он назвал требуемую сумму.

Судьба Виры оказалась трагической. Она перешла на работу в Коминтерн, там познакомилась с секретарем компартии США, вышла за него замуж и вернулась в Америку. Вскоре она погибла: во время разгона демонстрации ее застрелил полицейский.

Я вспомнила о Вире и об инциденте с московским извозчиком только потому, что опять довелось услышать высказывание с подобной "терминологией" (хотя я думаю, что, в

отличие от "гостеприимной" чарджоуской хозяйки, извозчик не вкладывал в свои слова оскорбительный смысл).

Какой же наивной идеалисткой была я в Америке, убеждая Виру, что в коммунистической России нет антисемитизма (теперь-то я знаю, что его пришлось почувствовать даже Троцкому и Литвинову). В 1962 г. в Ленинграде мне пришлось выслушать то же самое, что в 1942 г. в Чарджоу, но в более современном звучании: "Жидовка, поезжай в свой Израиль!" Это мне крикнула продавщица в продовольственном магазине, которой я сделала замечание после ее 20-минутного отсутствия. Когда продавщицу вызвал к себе директор магазина, которому я пожаловалась, она сказала: "А что тут такого, пусть меня называют кацапкой, я не обижусь".

Прошло еще 30 лет, и в 1992 г. в Петербурге, на Дворцовой площади, у Гостиного Двора, перед телецентром и в других местах произносят антисемитские речи, продают черносотенные газеты, с угрожающим видом расхаживают молодчики в сапогах и черных рубашках. Все это было уже. И закончилось — погромами. Жертвой одного из них лишь чудом не стала и я вместе со всей нашей семьей.

VII

Тот ужасный киевский погром в октябре 1905 г. унес жизни многих ни в чем не повинных людей: погромщики убивали их целыми семьями. Наша семья уцелела благодаря счастливому стечению обстоятельств и помощи добрых русских людей — няни, извозчика и священника.

Как я уже говорила, моя мама работала врачом в частной гинекологической больнице, принадлежавшей русскому врачу Вишнепольскому и находившейся в доме русского домовладельца, рядом с Притиско-Никольским монастырем. После развода с моим отцом мать ушла жить в больницу, а отец остался с детьми в квартире на Жилианской улице.

Смутно помню, что в тот страшный день комната была освещена отблесками пожара: по-видимому, горело какое-то строение неподалеку.

Наша няня, которая жила с нами много лет и очень к нам привязалась, прибежала с улицы и крикнула с порога, что к дому приближается толпа погромщиков. К счастью, отец был дома, и ему удалось быстро найти извозчика и усадить в коляску меня, сестер Нюню и Лизу и брата Гришу. Толпа озверевших убийц уже была рядом с домом, когда коляска помчалась к больнице Вишнепольского, при этом часть погромщиков бросилась за нами в погоню. Когда мы уже приближались к больнице, я (мне было всего четыре года) из-за страшной тряски выпала из коляски на мостовую между колесами. Извозчик заметил мое падение и мгновенно остановил лошадей, а отец, схватив сестер на руки, вместе с братом бросился к больнице. Они успели добежать до подъезда, и тут, оглянувшись, отец с ужасом увидел, что меня в коляске нет, а неподалеку показались черносотенцы. Он хотел броситься обратно, но его удержали от этого бесполезного поступка. Извозчик же не тронулся с места и, когда к нему подбежали разъяренные погромщики, сказал, что все, кого он вез, убежали. Черносотенцы, изругав его, убрались восвояси.

Эта жуткая сцена привлекла внимание священника, имевшего приход в Притиско-Никольском монастыре. Подойдя, он взял меня на руки (я от удара потеряла сознание) и направился к больнице. Когда батюшка внес меня в подъезд, радости матери и отца не было предела.

По рассказам мамы, в городе были организованы студенческие дружины для спасения евреев. В этом благородном деле принимали активное участие некоторые священники. Сама мама (она внешне скорее походила на русскую) во время погрома перевязывала раненых евреев на киевских улицах. По ее рассказам, полиция, как правило, не защищала

евреев и предоставила погромщикам, к которым присоединились и некоторые полицейские, возможность громить и убивать безнаказанно.

Так нам удалось спастись. Впрочем, не без ран: отца погромщики успели-таки ударить по голове, а старшей сестре Нюне подбили глаз. Я же от удара при падении и от нервного потрясения утратила способность речи. Но, благодаря уходу матери и других опытных врачей, через год я заговорила снова.

Разумеется, мать понимала, что пережитый погром — вряд ли последний, еще раз испытывать судьбу своих детей она не пожелала и отправилась к брату в Нью-Йорк. Только старший брат Гриша не захотел оставить отца и уехать с нами в Америку. В 1918 г. он, студент Университета Святого Владимира, вступил в красноармейский отряд и погиб в бою под Киевом.

VIII

Южная ночь была теплой, и я задремала на крыльце негостеприимного дома. Из полузабытья меня вывел внезапно раздавшийся девичий голос:

— Это вы с Лелиной мамой приехали из лагеря? Почему вы сидите на улице ночью?

Я подняла голову: перед крыльцом стояла молоденькая девушка. Выслушав мой короткий рассказ, она пригласила меня на ночь к себе, угостила куском хлеба. Рано утром, поблагодарив милую девушку, я вышла на улицу. Я не знала, куда идти, состояние безысходности вновь возвращалось ко мне. Какая-то женщина, шедшая навстречу, спросила меня: "Ты чего плачешь, небось эвакуированная?" Я ответила ей, что ищу работу, и женщина сказала мне, что на малярной станции требуется "секретарь", добавив: "Ты, небось, грамотная, тебя возьмут". Сама она, как оказалось, работала там уборщицей.

Так я пришла на малярную станцию, которой заведовал доктор Тартышев. Я так исхудала, что доктор не дал мне моих 40 лет. Человек он оказался отзывчивый, и, когда я рассказала ему свою историю, он проявил ко мне участие и без всяких колебаний принял на работу секретарем. При этом он объяснил мне, что Чарджоу переполнен ссыльными.

Затем доктор Тартышев пригласил меня в свой дом, находившийся рядом со станцией, и там мне было оказано такое гостеприимство, от которого я уже давно отвыкла. Его жена отмыла меня от дорожной грязи, усадила за стол, покрытый чистой скатертью, и накормила обильным обедом, а затем оставила ночевать.

Зарабатывала я на малярной станции немного — 200 рублей в месяц, получала по карточкам 400 граммов хлеба в день, но после лагеря это казалось мне высшим благом.

Через год, от души поблагодарив супругов Тартышевых, я устроилась на секретарскую работу в Облместпроме. Там я впервые обновила свой "гардероб": мой начальник разрешил мне снять с окна занавески и сшить из них новое платье взамен совершенно изношенного, в котором меня увезли на Лубянку еще в 1937 г.

Существование мое в Чарджоу — полунищенское, как у большинства советских граждан в тылу, — я тем не менее находила сносным (мне было с чем его сравнивать). Но на душе была тяжесть и тоска от глухой неизвестности. Долгих три года оставались мне до встречи с сыном-фронтовиком и почти пять лет — до тайного приезда из ссылки мужа.

Иногда мне на ум приходила мысль, которая, как я догадывалась, возникала и у других людей — свободных и репрессированных: для чего большевистскому режиму была нужна столь чудовищная жестокость и массовые репрессии против ни в чем не повинных граждан? Нужно сказать, что ответа на этот вопрос я не знаю до сих пор (ссылки на так

называемый культ личности или на тоталитарную природу коммунизма мне не кажутся убедительными). Но мне уже тогда было ясно, что руководить гигантской репрессивной машиной мог только человек, у которого подобных вопросов не возникало. Я даже могу кое-что (очень немного) рассказать об этом человеке, стоявшем в центре большевистского террора: я была у него дома и сидела с ним за одним столом.

IX

В 1926 г., вскоре после приезда в Лондон, я познакомилась с Евгенией Соломоновной Хаютиной, женой второго секретаря полпредства Гладуна, и мы быстро подружились. Мне нравились ее чистосердечие и простота в обращении, а она была благодарна мне за мою помощь ей в занятиях английским. После возвращения сотрудников полпредства в Москву я с ней долго не виделась, так как мне дали разрешение на поездку в США для встречи с матерью и сестрами.

В 1928 г. я вернулась в Москву, и наша дружба с Евгенией Соломоновной возобновилась. Однажды, в один из моих приходов к ней домой, я с удивлением узнала, что она разошлась с Гладуном и выходит замуж за Николая Ивановича Ежова - малоизвестного партийного чиновника, занимавшего должность учраспреда ЦК ВКП(б) (он заведовал распределением материальных ценностей, а также отделом кадров). Евгения Соломоновна рассказала, что ее 37-летний муж ранее был заместителем наркома земледелия.

По-видимому, Ежов был способным администратором, так как на XVII съезде партии в 1934 г. он был избран в ЦК и одновременно стал членом ВЦИК.

Моя дружба с Евгенией Соломоновной продолжалась, но в сентябре 1936 г., когда ее муж был назначен наркомом внутренних дел, наши встречи прекратились, так как теперь она должна была ограничить круг своих знакомых. И все-таки мы увиделись еще один раз.

Однажды глубокой осенью, после дежурства в редакции, которое закончилось в 12 часов ночи, я стояла на трамвайной остановке под проливным дождем и с тоской всматривалась в темноту, но трамвая все не было. Внезапно меня окликнули из проезжавшей мимо машины, и я увидела сидевшую там Евгению Соломоновну. Мы обе очень обрадовались, и она предложила мне поехать к ней домой.

Жила она теперь в Кисельном переулке, в особняке с охраной. Несмотря на поздний час, в квартире не спали. Меня провели в гостиную, где я впервые увидела Николая Ивановича Ежова и еще одного человека, насколько помню, первого секретаря ЦК компартии Грузии. Евгения Соломоновна представила меня Николаю Ивановичу, и он сказал мне несколько незначительных слов. Был он небольшого роста, подтянут и хорошо сложен. Лицо его показалось мне совершенно невыразительным.

Нас пригласили к ужину, который по качеству вполне мог назваться наркомовским. Вести себя за столом Николай Иванович не умел: громко чавкал, брал куски мяса из общих тарелок руками (при этом Евгения Соломоновна незаметно толкала его под столом ногой). Разговаривал он мало (мне не сказал ни слова), но я была поражена бедностью, почти примитивностью его речи. Иногда пристальный взгляд его серых глаз останавливался на мне, и я испытывала какое-то смутное беспокойство, почти страх. Из-за стола я поднялась с облегчением.

По прежним рассказам Евгении Соломоновны я знала, что она сожалела о своем замужестве, хотя благодаря ему смогла стать редактором журнала "СССР на стройке". Однажды она призналась мне, что вся жизнь с этим человеком была для нее тяжким испытанием.

Судьба Евгении Соломоновны была ужасной. Вскоре после ареста в апреле 1939 г. Ежова она была застрелена в своей квартире, той самой, где мы виделись с ней последний раз.

Без всякого сомнения, она была убита по приказу нового наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Ведь дом, в котором она жила, находился под охраной НКВД, и никакой уголовник проникнуть в ее квартиру не мог.

Думаю, что решение убить Ежову раньше, чем её мужа (Николай Иванович был расстрелян в апреле 1940 г.), мог принять Сталин: слишком много кошмарных тайн знал его верный нарком. По-видимому, нескольких мимолетных встреч с Евгенией Соломоновной в Кремле Сталину, отнюдь не лишённому проницательности, было достаточно, чтобы понять: она далеко превосходит Ежова умом и культурой. Надо полагать, это ускорило гибель моей подруги.

Такого рода тайные расправы не являлись в то время исключением: вскоре после расстрела в феврале 1940 г. режиссера Мейерхольда была зверски убита в своей квартире его жена Зинаида Райх.

Я всю жизнь вспоминаю ту осеннюю ночь 1936 г., когда мне пришлось сидеть за одним столом с невзрачным, косноязычным человеком, спустя три месяца одним росчерком пера отправившим в тюрьму моего мужа, а затем и меня. Мог ли он предполагать, что все участники ночного ужина в его квартире, кроме меня, будут в недалеком будущем убиты? По-видимому, это в то время мог знать только один человек — Иосиф Сталин.

Х

В чарджоуском Облместпроме я проработала в 1943-44 гг. почти год. Меня "прикрепили" к столовой, и я смогла более или менее сносно питаться.

Однажды во время обеда к моему столу подсел человек, представившийся ответственным секретарем газеты "Чарджоуская правда". Узнав, что я до войны сотрудничала в "Крестьянской газете" и в "Moscow Daily News", он предложил мне работу в редакции. Так я стала секретарем и корреспондентом "Чарджоуской правды".

По заданию редактора я брала интервью у известных в городе людей. Помню, был опубликован большой материал о главвраче, которая возвращала зрение многим больным и сама заразилась от одного из них. Из-за статьи о преподавателе фельдшерской школы у меня были неприятности, так как редактор счел, что не следовало перехваливать эту ссыльную женщину.

Летом 1944 г. я получила наконец первое письмо от сына и узнала, что после моего ареста его увезли в Даниловский детприемник, где содержались дети "врагов народа", а затем в детский дом. Из детского дома Володя сбежал, сумел добраться до Ленинграда (в Москве родственников у нас не было) и явился к своему деду, Моисею Абрамовичу Шинкареву.

Отец мой внука принял и даже не побоялся попросить директора школы (рассказав ему всю правду) принять Володю учиться. Дед, конечно, шел на большой риск, но директор оказался человеком доброжелательным и смелым: в школу Володю он принял, и сын проучился там до мая 1941 г.

Вскоре после объявления войны Володя явился в военкомат и попросился на фронт, но ему отказали (сыну было 17 лет). Однако, когда немецкие войска начали приближаться к Ленинграду, Володю все-таки зачислили в дивизию народного ополчения.

Сын прошел всю войну: воевал на Ленинградском и Карельском фронтах, был трижды ранен. Летом 1944 г. он лежал с тяжелым ранением в правую руку в госпитале. Там ему сообщили, где нахожусь я, и он отправил мне письмо (писала под его диктовку медсестра).

Радости моей не было предела, жизнь снова обрела для меня смысл, и теперь все мои мысли были о предстоящей встрече с Володией. Но вместе с радостью мучил и страх за него: война продолжалась, и ему еще предстояло возвращение на фронт.

Вскоре я получила от сына аттестат, по которому мне выдали два американских платья — летнее и шерстяное. С одним платьем произошел досадный, но курьезный случай. Я его выстирала и повесила сушиться во дворе дома, в котором снимала угол. У моей хозяйки была коза, и она... съела мое летнее платье. Пришлось мне в сильную жару ходить в шерстяном. Я была расстроена, но через несколько дней мне довелось пережить испытание, после которого история с платьем поблекла в моей памяти.

На работе ко мне подошел редактор и, глядя на меня с ужасом, сказал, что меня вызывает начальник городского Управления НКВД.

В редакции ко мне относились очень хорошо, и двое сотрудников — зам. ответственного секретаря Ольга Михайловна и ее молодой помощник Сережа вызвались меня проводить, при этом они захватили с собой продукты, чтобы оставить их мне, если я не вернусь.

Как только я вошла в здание Управления внутренних дел, у меня отобрали паспорт, и я решила, что начинается второй этап моей лагерной жизни. Я прождала очень долго, пока наконец появился молодой упитанный начальник и пригласил меня в кабинет. Был очень жаркий день - около 50 градусов, и начальник, сидя за столом, пил холодную воду, а я, стоя перед ним в шерстяном платье, обливалась потом. Он не предложил мне сесть, однако спросил, не жарко ли мне. Я ответила утвердительно, добавив, что мне нечем утереть пот, и он достал из кармана и протянул мне белоснежный носовой платок. Поблагодарив, я не взяла его.

— Что же, вы даже платка не хотите взять у нас? — сказал он небрежно.

— Нет, я просто не привыкла пользоваться чужими носовыми платками, — ответила я.

— Вы, кажется, объездили всю Америку? — продолжал начальник.

— Я не могла этого сделать, я была бедная девушка.

И тут энкаведист неожиданно предложил мне... заниматься с ним и его женой английским языком, добавив, что через некоторое время позвонит мне в редакцию.

На улице меня радостно встретили Ольга Михайловна и Сережа, прождавшие три часа. Спустя довольно долгое время Сережа рассказал мне, что всех сотрудников редакции вызывали и дотошно расспрашивали обо мне, и никто из них не сказал ни одного слова, которое могло бы мне повредить. И тут я вспомнила, что редактор тогда буквально уговаривал меня поскорее уехать.

XI

Летом 1946 г. произошло самое радостное событие в моей жизни: в Ташкент по заданию командования прибыл мой сын - капитан, во главе охраны сопровождавший теплушки с солдатами - чеченцами и ингушами, высланными по приказу Сталина. Из Ташкента он приехал в Чарджоу. Мы не виделись почти 9 лет! Из 12-летнего мальчика Володя превратился в могучего молодого мужчину, на груди его сверкали боевой орденом и медали. Он еще раз был ранен в Заполярье: в рукопашной схватке эсэсовец ударил его кинжалом в голову. Володя перенес сложную операцию.

Этот приезд в Ташкент был последним воинским заданием сына: он подлежал демобилизации и имел право вернуться в Ленинград. Распрощавшись со всеми добрыми

людьми, я уехала вместе с Володей в город, в котором начинала свою жизнь с мужем и где мой сын появился на свет.

В Ленинграде мне вначале повезло с работой, я преподавала английский язык в мореходном училище. Но в 1948 г. меня уволили "по анкетным данным". На этом мое везение кончилось: я с трудом находила работу (конечно, не преподавательскую), но вскоре меня увольняли, и так продолжалось много лет, вплоть до назначения мне пенсии, очень маленькой.

Узнали мы наконец и о судьбе мужа. По статье 58 его приговорили к 10 годам лагерей, которые он провел в страшном Норильсклаге и остался жив только благодаря крепкому здоровью. Выйдя из лагеря, он отбывал ссылку в Норильске, преподавал английский язык в техникуме.

В конце 1947 г. Леонид Абрамович нелегально приехал в Ленинград и недолго тайно пожил у нас. Он немало нам рассказал о лагерных кошмарах. Здоровье его было надорвано. Одиннадцать долгих лет в сталинском ГУЛАГе не сломили его. "Вины" своей он так и не признал, выдержал пытки, с лагерной администрацией держался независимо. Уголовники, нередко избивавшие и грабившие политических, Леонида Абрамовича предпочитали не трогать, так как им доводилось испытывать силу его кулаков. Вскоре муж вернулся заканчивать срок ссылки, но освобождения так и не дождался: в 1948 г. он умер.

Я до сих пор с горечью вспоминаю, как в двадцатых годах Леонид Абрамович, несмотря на мои уговоры, не согласился вернуться в Америку: он хотел быть коммунистом в "первой стране социализма". Прозрение пришло к нему слишком поздно. Вера в коммунистическую диктатуру и одновременно отказ от слепого подчинения ей стоили ему двенадцати лет мучений и самой жизни.

Эпилог

В Петербурге Розалия Блок-Баерс прожила пятьдесят лет. На девяносто шестом году жизни ее поместили в красносельский дом престарелых. Сын добился, чтобы ей, как жертве политических репрессий, предоставили "льготу" - перевели из двадцатиместной палаты в четырехместную. Прожив там несколько месяцев, Розалия Моисеевна умерла в ноябре 1996 г., не узнав, что ее сын тоже находится на пороге смерти.

Возвращаясь домой темным октябрьским вечером, Владимир Леонидович был сбит на переходе машиной и с тяжелой травмой головы доставлен в госпиталь. Давнее ранение — удар эсэсовским кинжалом в голову в октябре 1944 г. - сделало его состояние безнадежным. Агония продолжалась долго. В редкие часы ясного сознания он интересовался здоровьем матери, просил не говорить ей о случившемся... В. Л. Блок скончался в январе 1997 г.

Жены и детей у Владимира Леонидовича не было. Он оставил рукопись воспоминаний "Я был сыном врага народа", опубликованных в сборнике "Книга живых" (СПб., 1995). Трагедия семьи Блок, начавшаяся в январе 1937 г. арестом главы семьи, завершилась ровно через 60 лет гибелью его сына.

Литературная запись С. В. Узина

Блок-Баерс Р. М. Нью-Йорк – Москва – Сибирь по этапу / лит. запись С. В. Узина // Звезда. – 2001. – № 9. – С. 194–204.